

цветная, тихая, застѣчивая дѣвушка, ея подруга по институту, — молча, съ почуганнымъ смущеніемъ глядитъ въ ея каріе, задорно поблѣсывающіе глаза.

— Ха-ха-ха! Очаровательно, дѣтка! Молодчи-нище! Вы прессируете, сударыня, — раскатывается безпечнымъ, веселымъ смѣхомъ Анатолій, хватая за руки младшую сестру и кружась съ нею по сценѣ.

— Ну да, конечно молодецъ, если на то пошло, — лукаво и бойко поглядывая на мужчинъ, посылающихъ ей одобряющія улыбки, продолжаетъ Муся. — Ну да, я говорю исключительно только правду и притворяться не желаю. Мы — не дѣти. И танго многія изъ насъ въ дортуарѣ по вечерамъ танцуютъ, и открытки съ Жильбертой, популярѣйшей его исполнительницей,

не стыдятся имѣть у себя. Вѣдь это — красота, а красота и мелкій стытъ несовѣстимы.



„— Я люблю васъ, Зина, и такъ готовъ былъ бы кружиться съ вами всю жизнь, — бросаетъ своей дамѣ на-ушко Толя“. (Ст. 2.)

— Bravo! Дальше, дѣтка, дальше!

— Муся! Муся! Перестань! Что ты?— съ искреннимъ ужасомъ срывается съ тонкихъ губъ старшей сестры, Вѣры, отъ прямой, худощавой фигуры которой, отъ строгихъ чертъ и темныхъ, безъ блеска, спокойныхъ глазъ, какъ и отъ всего ея смуглага лица, вѣять чѣмъ-то суровымъ, какъ отъ древней византійскаго письма иконы.

— Полно, Вѣрочка, ничего нѣтъ дурного въ томъ, что я говорю!—еще веселѣе и задорнѣе подхватываетъ Муся.— Не хочу притворяться наивной дѣточкой, не хочу лицемерить и ханжить, не замѣчать величія красоты тамъ, гдѣ это не принято. И врать не хочу тоже. Ну да, мнѣ правятся раздражающая, капризная музыка танго—мотивъ его, нѣжащій и какъ будто убаюкивающе-усталый, и ритмъ его, и движенія, какъ нравятся всякое другое смѣлое начинаніе, какъ нравятся рыжіе, обезцвѣченные нашатыремъ и перекисью, волосы Зины и...

— Муся! Муся!—и ужасъ вселяется въ невыразительные до этого, молчаливые глаза Вѣры.

— Ничего. Оставь ее, кузиночка!.. Продолжай, Муська! Это прелесть что за дѣвченка, право!—не совсѣмъ искренне и шумно восторгается вдовушка, у которой при упоминаніи о нашатырѣ и перекиси водорода горячій румянецъ выступает на слегка тронутомъ косметиками прелестномъ лицѣ.

— Ахъ, нѣтъ, не буду говорить больше, не хочу! Пожалуй съ Вѣрой ударъ еще сдѣлается. Вѣдь все, что я говорю сейчасъ, не приято, неприлично въ обществѣ, и за это маленькихъ дѣтей сбькутъ розгами и ставить въ уголъ!—и пухлые губы Муси надуваются, и все лицо становится капризнымъ и совсѣмъ ребяческимъ въ эту минуту.

„Любимецъ публики“ признаетъ этотъ



„— Мы—не дѣти и отлично понимаемъ, какъ вы проводите свободное время въ столицѣ,—звенить голосокъ Муси“.

(Ст. 5.)

моментъ очень удобнымъ, чтобы подойти къ ней.

— Вы прелестны,—говоритъ онъ естественнымъ тономъ, наклоняясь къ поэтично растрепанной темно-русой головкѣ,—и дорого бы я далъ—честное слово!—чтобы этотъ маленькій ротикъ, врагъ условностей, трафарета и пережитковъ гнилой традиціонности, сказалъ мнѣ что нибудь такое пріятное, отъ чего... кровь въ моихъ жилахъ забурилла бы, какъ огненная лава.

Его лицо, гладко выбритое, рыхлое лицо старѣющаго актера, съ плотоядной улыбкой и выпуклыми глазами дышитъ на Мусю запахомъ дорогой сигары и цветочнымъ одеколономъ, которымъ онъ ежедневно обтираетъ себѣ щеки послѣ бритья. Сладкій и пріятный ароматъ какихъ-то исключительно дурманныхъ и крѣпкихъ духовъ исходитъ

цѣлой струей отъ его безупречно сшитого свѣтлаго костюма и ударяетъ въ голову.

Муся чувствуетъ инстинктивное отвращеніе къ „любимцу публики“—или, вѣрнѣе, къ артисту частныхъ петербургскихъ театровъ, Думцеву-Соколю-скому, привезенному братомъ Толей изъ столицы для постановки ихъ любительскаго спектакля.

Думцевъ-Сокольскій чувствуетъ себя здѣсь, въ этомъ чудесномъ уголкѣ Западнаго края, въ старинной усадьбѣ Бончъ-Старинаковскихъ, какъ въ раю. Полный отдыхъ на лонѣ живописной природы; отличная кухня, обиліе интересныхъ женщинъ, какъ вино, дурманитъ мозгъ актера. Очаровательная вдовушка, племянница хозяйна, дѣйствуетъ на него, какъ бокалъ шампанскаго, своей эксцентричностью, обаяніемъ красивой, свободной женщины и „шикомъ“. Вторая дочь помѣщиковъ, Вѣра, величавая, строгая, замкнутая, со смуглымъ иконописнымъ лицомъ и суровыми глазами, возбуждаетъ его восторгъ и поклоненіе уже нного свойства, какъ цѣнителя всего сильнаго, какимъ воображаетъ себя Виталій Петровичъ Думцевъ-Сокольскій, не безъ основанія прозванный „любимцемъ публики“ шалуней Мусей за его полные самохвальства рассказы о бывалыхъ и небывалыхъ театралныхъ успѣхахъ.

Нынче онъ, какъ и всѣ находящіеся здѣсь въ залѣ мужчины, по уши влюбленъ въ шикарную вдовушку, только что такъ умѣло продемонстрировавшую предъ ними модный танго. Но за вдовушкой ухаживать опасно. Ее безумно и безнадежно любить молодой хозяинъ дома, товарищескія отношенія съ которымъ, хотя бы случайнымъ, завязавшимся за бутылкой шампанскаго, онъ, Думцевъ-Сокольскій, очень дорожитъ. Все-таки Анатолій Бончъ-Старинаковскій, продолжатель

древняго аристократическаго, когда-то польскаго, теперь вполне обрусѣшаго, рода—богатый, блестящій офицеръ одного изъ лучшихъ кавалерійскихъ полковъ Россіи, и выступать его конкурентомъ на поприщѣ достиженія благосклонности очаровательной Ланской и не умно, и опасно. Да и незачѣмъ это, когда подъ рукою находится такая прелесть, какъ Муся! Она будитъ его, Думцева-Сокольскаго, уже притупленное воображеніе, затрагиваетъ приумолкшіе голоса чувственности и пріятно волнуетъ его затрепанную въ безчисленныхъ закулисныхъ и свѣтскихъ пьитригахъ натуру.

— Прелесть моя! Дѣтка!—шепчетъ онъ, еще ближе наклоняясь къ поэтичной, съ короткими, какъ у мальчика, кудрями головкѣ.—Прелесть моя, почему вы не желаете провести на практикѣ то, о чемъ такъ смѣло проповѣдуете? А?—несколько не смущаясь присутствіемъ неотлучной мусиной



„— Вы прелестны!—говоритъ „любимецъ публики“, наклоняясь къ темнорусой головкѣ“. (Ст. 10.)

подруги, тихой, безцветной Варюши, и уставясь своими бычьими глазами въ миниатюрное, неправильное личико, цѣдуть сквозь зубы Думцевъ — Соколовскій. — А, дѣтка?

Дѣвочка поднимаетъ на него каріе искрающіяся глазки, и сейчасъ они мучьт пламя.

— Во-первыхъ, не смѣйте называть меня дѣткой! Вамъ уже сто разъ говорилось это, — сердито роняетъ Муся. — А, во-вторыхъ, отодвиньтесь. Терпѣть не могу, когда мнѣ дышутъ въ лицо табакомъ.

Она, демонстративно выскользнувъ изъ-подъ руки обѣшавшаго Соколовскаго, отбѣгаетъ въ дальній конецъ сцены, увлекая за собою и свою молчаливую подругу. Отсюда дѣвочки соскакиваютъ на полъ и прячутся въ глубокой нишѣ окна, за шелковой занавѣской. Оно раскрыто настежь, и пѣтерокъ слабо колышится занавѣску. Невидимыя никому изъ присутствующихъ въ залѣ подруги могутъ здѣсь перемолвиться словомъ.

— Терпѣть его не могу. Противно мнѣ его ухаживаніе, — все еще сердито говоритъ Муся. — Когда онъ руку цѣлуетъ, чувствуешь, точно жаба тебя коснулась, а вотъ когда Луговской — ничего, ни чуточки не гадко. А вѣдь онъ и некрасивый, и неинтересный, только что играетъ на роялѣ хорошо. Вотъ поди-жь ты! Почему это, Варюша? — и пытливые каріе глазки такъ и пронзаютъ взглядомъ лицо подруги.

— Не знаю, Мусикъ, право, не знаю. Вѣроятно потому, что съ Луговскимъ ты давно знакома — вѣдь онъ бываетъ у васъ въ домѣ еще со времени своего пребыванія въ корпусѣ, а Думцевъ вѣкъ вамъ чужой, — тихо отвѣчаетъ блѣдная дѣвушка.

— Ахъ, не то, не то! — пылко перебиваетъ ее Муся. — Пойми, я люблю, чтобы за мной ухаживали, люблю ви-

дѣть себя окруженной мужчинами, люблю будить въ нихъ того, знаешь, этого звѣрька съ острыми зубами, который называется мужской страстью, и въ ихъ увлеченіи мною находить успокоеніе отъ моей постоянной болѣзни. Да, да, именно болѣзни, Варюша. Или ты не знаешь, что я ранена на-смерть, что о немъ только, о далекомъ и миломъ, моя мечта? Его я буду любить вѣчно. Цѣлая плоть дѣтъ люблю его, съ одиннадцатилѣтняго возраста. Смѣшно сказать даже, а это — святая правда. Еще дѣвченкой я адски втюрилась въ него съ перваго взгляда и съ тѣхъ поръ мечтаю о немъ. Ты знаешь, пройду еще два-три года — и я стану шипѣть, какъ старая дѣва, или ханжить, какъ Вѣрочка. Этого нельзя, того нельзя; это неприлично, то не принято. И все оттого, что онъ не для меня, что онъ — не мой. Я и теперь часто бываю зла, какъ кошка. Зина вѣдь хорошенькая? правда? и адски шипарна, правда? Но вотъ послушай, Варюша, совѣсть ты моя. Вѣдь ты — моя совѣсть, Варечка: только тебѣ одной я всю свою душу выливаю. Да, такъ вотъ нынче я нарочно про обезцвѣченные волосы Зины брякнула... Не вѣришь? Ей-Богу! Дума-ла, если онъ меня не любитъ — мечта моя, сказка моя, греза моя далекая — такъ пускай же и всѣхъ другихъ меньше любятъ всѣ ихъ поклонники — и Китти, и Зину, и всѣхъ... Съ Зины я и начала. Собственно говоря, что въ ней хорошаго? Носъ туфлей, крашеная, рыжая, ротъ до ушей, однако все вмѣстѣ адски шипарно и тонко, и пикантно, и...

Муся хмурится, сжимаетъ крошечные кулачки, и скорбный огонекъ появляется въ ея глазахъ.

— Медамъ и мсье, прошу на сцену. Пора начинать второй актъ. Такъ мы никогда не дотацимся до конца

пъесы,—разносятся по залу красивый, жеманной носовой голосъ „Любимца публики“, привыкшій къ тому, чтобы всѣ имъ восхищались.

Но его на этотъ разъ никто не слушаетъ. Вдовушка стоитъ предъ кресломъ Вѣры и, блестя зеленоватыми глазками и сверкая бѣлыми хищными губками, говоритъ, обращаясь къ поспѣдней, не то искренне, не то шутя:

— Боже мой, Вѣрочка, вотъ ты опять недовольна мною. Ну, да, да, я знаю... Ты — сама корректность, воплощенная добродѣтель и понятию опять осуждаешь безумную Зину за то, что она, насмотрѣвшись на всякихъ Вланищъ, Жильбертокъ и Маргошекъ, рискнула перенести ихъ искусство сюда, подъ сѣнь стариннаго аристократическаго дома, и продемонстрировать здѣсь отчаянное танго, которому мѣсто только въ эланихъ, укромныхъ столичныхъ уголкахъ. Непростительное легкомысліе, не правда ли, Вѣрочка?

— Ну, знаете, кузиночка, я думаю, что тѣни предковъ, витающія подъ этой кровлей, весьма и весьма не прочь полюбоваться на такую шикарную исполнительницу-диллетантку, а прабабушки — я увѣренъ въ этомъ — уже дѣлаютъ сцену ревности прабабушекъ ва ихъ чрезчуръ пылкое увлеченіе вами нынче,—сѣется Толя.

— Вы противный и потому молчите. Я говорю съ Вѣрочкой, а не съ вами. Слышите, Анатолий, молчать! — пухлою ручкой шутиливо ударяетъ офицера по плечу вдовушка.

— Я умеръ,—паясничаетъ Толя.

— Ну, Вѣрочка, правду я говорю? — и ласково, по-кошачьи Зина жметъ къ своей строгой кузинѣ.

Та взглядываетъ на нѣе темными, безъ блеска глазами.

— Пустяки, Зина!.. ты же знаешь.



„— Вѣдь ты — моя совѣсть, Варечка: только тебѣ одной я всю свою душу выливаю“. (Ст. 12.)

Я не люблю только, когда ты выкидываешь свои эксцентричныя шулки при дѣвочкахъ. Муся и такъ преждевременно развита. Мама и Китти увѣзшая оставили ее на моемъ попеченіи.

— И останутся конечно вполне довольны результатами такого покровительства,—снова вмѣшивается въ ихъ бесѣду Анатолий. — У нашей Вѣры съ пеленокъ развиты педагогическія способности. Она была бы незамѣнимой воспитательницей въ какомъ нибудь сойвентъ*) за границей. Вторая се-

*) Закрытое женское учебное заведеніе при католическихъ женскихъ монастыряхъ, куда обычно, до закона о закрытіи монастырей, французская аристократія отдавала на воспитаніе своихъ дочерей.



„— Я здѣсь... аккуратенъ, какъ видите, — говоритъ Рудольфъ Штейнбергъ“
(Ст. 16.)

стрица у меня—образецъ строжайшей дисциплины и соблюденія нравовъ.

— А ты все шутишь, Анатолій! — и Вѣра смотритъ на брата своими строгими глазами, но они уже полны выраженія нескрываемой нѣжности.

Мгновенно хорошеетъ ея холодное, замкнутое лицо и молодѣетъ сразу подъ наплывомъ теплаго чувства.

Всѣ онѣ три — она, Муся и отсутствующая старшая сестра Китти — горячо привязаны къ своему единственному брату, весельчаку, кутяи и милому вѣтренику Толѣ. Красавица Китти прозвала брата „Фру-фру“, и это прозвище какъ нельзя больше подходитъ къ юношѣ. Веселый, всегда ровный, общительный, рубаха-парень, что

называется, и доброты необычайной, Анатолій Владиміровичъ Бончъ-Старнаковскій славится не только любимцемъ своей семьи, но и своего полка, и того кружка, въ которомъ онъ вращается. Но больше, чѣмъ кто либо другой, его любятъ мать, отецъ и сестры. И, глядя на брата и отвѣчая ему, даже холодная Вѣра находитъ въ себѣ тѣ изумительно не подходящія къ ея типу теплоту и нѣжность, которыя сейчасъ бросаютъ краски въ ея смуглымъ щеки и зажигаютъ лаской ея строгіе, молчаливые глаза.

— Господа! Еще разъ призываю васъ всѣхъ къ порядку, — надвывается „любимецъ публики“. — Я начинаю рететицію и прошу васъ молчать, — и онъ отчаянно звонитъ въ колокольчикъ.

— А гдѣ же остальные исполнители? Гдѣ Маргарита Федоровна? Гдѣ „Попугайчики“? Гдѣ Рудольфъ? — пулей вылетая изъ-за шелковой занавѣски, кричитъ Муся.

— Они подойдутъ къ своей сценѣ. „Попугайчики“ дали слово быть непремѣнно.

— А Рудольфъ?

— Я здѣсь.

Всѣ взоры обращаются къ двери.

На порогѣ зала стоитъ высокая, плечистая, съ военной выправкой, фигура молодого человѣка. На немъ прекрасно сшитый штатскій костюмъ, подчеркивающий эту безукоризненную фигуру. Крупная, тщательно причесанная на проборъ бѣлокурная голова, подстриженные рыжевато-бѣлокурые усы холодные, немного выпуклые, цвѣта стали, глаза, смотрящіе какъ-то ужъ слишкомъ прямо и напряженно, и яркій малиновый ротъ съ большими бѣлыми зубами, обнаженными сейчасъ въ улыбку.

— Я здѣсь... аккуратенъ, какъ видите, — говоритъ вновь прибывшій, какъ-то странно, точно не по-русски,



выговаривая слова и все еще улыбаясь одними губами, тогда как глаза продолжают оставаться серьезными.

— Ага! Мсье Штейнберг! Отлично! Пригайте сюда к намъ, и начинаемъ репетицію. Живо!—командуетъ „любимецъ публики“, издали театральнымъ жестомъ привѣтствуя вновь пришедшаго.

Рудольфъ Карлъ Августъ фонъ Штейнбергъ—сынъ Августа Карловича Штейнберга, стараго управляющаго Отраднѣмъ, имѣищемъ Бончъ-Старнаковскихъ,—красивой и легкой походкой переходитъ залъ и, такъ же легко и красиво, минуя дѣсенку, ведущую на подмостки, поднимается туда, ухватившись руками за доски пола и напрягая и безъ того сильныя мускулы.

— Адски ловко! Bravo, Рудольфъ, bravo!—кричитъ въ восторгъ Муся и хлопаетъ въ ладоши.

— Что и говорить!.. скульптура!—улыбается Толя.

„— Рудольфъ, берегись! Еще одно слово кузины въ твою пользу — и готовъ маузеры, — и Анатолий дѣлаетъ трагическое лицо!“ (См. ниже.)

— Мсье Рудольфъ, сколько пудовъ вы выжимаете одной рукой?—кокетливо стрѣльнувъ въ его сторону чуть подтушеванными глазками, освѣдомляется Зина.

— Рудольфъ, берегись! Еще одно слово кузины въ твою пользу — и готовъ маузеры. Двадцать шаговъ разстоянія, завтра, на восходѣ солнца, за садомъ. Луговской — мой секундантъ; твой — „любимецъ публики“, — и Анатолий дѣлаетъ трагическое лицо.

— Ай, какъ страшно! Молчите, молчите! Я не выношу крови!—хохочетъ Зина.

За нею слѣдуютъ остальные. Уже очень забавенъ Анатолий со своими вращающимися во всѣ стороны глазами и рыкающимъ голосомъ.

Одна Вѣра остается серьезной. Съ минуты появленія Рудольфа Штейнберга здѣсь, на порогѣ бѣлаго зала,

что-то странное происходит съ дѣвшкой. Ея черные глаза ярко загораются, тонкое лицо вспыхиваетъ темнымъ румянцемъ смуглянки, и Вѣра Бончъ-Старнаковская въ этотъ мигъ становится настоящей красавицей.

II.

Вотъ уже вторую недѣлю репетируется здѣсь, въ большомъ бѣломъ залѣ Отраднаго, исполнителями - дилетантами чудесная, полная скрытаго трагизма и вѣщныя обаянія голубыми крыльями поэзіи, популярнѣйшая пьеса Чехова „Вишневый садъ“. Предстоящій спектакль является подаркомъ младшихъ членовъ семьи ея старшему представителю и главѣ, Владиміру Павловичу Бончъ-Старнаковскому, очень крупному чиновнику дипломатическаго міра и помѣщику, владѣльцу одного изъ прекраснѣйшихъ имѣній Западнаго края, расположеннаго неподалеку отъ прусской границы.

Семья Бончъ-Старнаковскихъ, благодаря службѣ и положенію самого Владиміра Павловича, принуждена вести открытую жизнь въ Петербургѣ. Домъ тайнаго совѣтника Бончъ-Старнаковскаго составляетъ на широкую ногу. Бывшіе петербургскіе кружки общества считаютъ необходимою бывать у Старнаковскихъ на ихъ четвергахъ. Ихъ ложу знаютъ всѣ посѣтители перваго абонементна Императорской оперы. На концертахъ *hurriquet* *) отличаются въ обществѣ брата и его товарищей по оружію обѣ старшія барышни: и красавица Китти, и вторая смуглая, похожая на монахиню, Вѣра. Младшая, Муся, еще учится въ одномъ изъ фешенебель-

ныхъ институтовъ столицы. Всюду, на всѣхъ аристократическихъ балахъ появляются старшія барышни Бончъ-Старнаковскія; ихъ знаетъ весь высшій свѣтъ Петербурга.

Семья Бончъ-Старнаковскихъ является послѣдней представительницей стариннаго польскаго аристократическаго, теперь давно уже обрусѣннаго, рода. Когда-то предки Бончъ-Старнаковскихъ грѣзли на весь Западный край и во времена свободной Польши являлись маленькими царьками-магнатами.

Увы! отъ всего прежняго магнатства предковъ потомкамъ остались теперь лишь одно славное имя да большое имѣніе въ сердцѣ Польши.

Это имѣніе, сданное на полное попеченіе честнѣйшаго въ мірѣ пѣмца, Августа Карловича Штейнберга, ежегодно и очень охотно въ лѣтнее время посѣщалось, несмотря на далекое разстояніе отъ столицы, его владѣльцами.

Самъ Владиміръ Павловичъ Бончъ-Старнаковскій пріѣзжалъ сюда погоститъ на какія нибудь двѣ-три недѣли, чтобы отдохнуть на лонѣ деревенской природы; но это случалось тогда, когда ему не представлялась хотя бы малѣйшая возможность ѣхать за границу, гдѣ онъ отъ времени до времени лечилъ расшатанную нервную систему. Его супруга, Марья Дмитріевна („генеральша“, въ устахъ прислугъ, постольку, поскольку и самъ онъ, тайный совѣтникъ, являлся для нихъ „генераломъ“), ежегодно лечила въ Карлсбадѣ свои больныя почки. Мужъ обыкновенно провожалъ ее туда и ѣхалъ дальше. Но въ это лѣто совмѣстная поѣздка не удалась; дѣла удержали „генерала“ въ Петербургѣ, и Марья Дмитріевна принуждена была ѣхать въ Карлсбадъ со старшей дочерью, красавицей Китти, и ея же-

*) Состязанія въ верховой ѣздѣ, устраиваемыя обычно въ Великомъ посту въ Михайловскомъ манежѣ, въ Петербургѣ.



„Роль Шарлотты Ивановны репетировала Маргарита Федоровна, старая дѣва, ненавистница мужчинъ“. (Ст. 24.)

нихомъ, Борисомъ Мансуровымъ, молодымъ, но уже подающимъ надежды, чиновникомъ.

Несмотря на отсутствіе трехъ членовъ семьи, въ Отрадномъ было исключительно весело въ это лѣто. Главѣ семейства удалось нынче вырваться на нѣсколько дней изъ душной столицы въ старое родовое гнѣздо. Удалось и его сыну Анатолію урваться на короткое время изъ лагеря со своимъ другомъ, Никсомъ Луговскимъ, и прилетѣть въ милое Отрадное, гдѣ съ самаго начала лѣта жили его сестры, Вѣра и Муся, гостили очаровательная вдовушка, ихъ кузина Ланская, и подруга Муси, Варя Карташова. Старый праѣдовскій палаццо дрожало отъ взрывовъ молодого, часто безпричин-

наго смѣха, отъ громкихъ, радостныхъ голосовъ, звуковъ музыки и хорового пѣнія.

Весь этотъ домъ со своимъ двухъ-свѣтлымъ, перерѣзаннымъ большими колоннами, заломъ, со своимъ хорами и старинными диванами, эффектно дисгармонировалъ съ молодымъ, рѣвымъ и веселымъ обществомъ, собравшимся въ немъ. А оно чувствовало себя прекрасно и въ бѣломъ залѣ съ колоннами, и въ портретной галлерей, и въ бильярдной, словомъ, во всемъ этомъ праѣдовскомъ гнѣздѣ, гдѣ, казалось, въ темныя загадочныя ночи еще витали тѣни умершихъ предковъ. Въ густыхъ, тѣнистыхъ аллеяхъ сада съ его безчисленными затѣями, съ его классическими статуями, гротами и воздушными кружевными бесѣдками, повисшими надъ старымъ прудомъ, — въ этомъ густомъ, тѣнистомъ саду все еще дышало таинственной прелестью старой родовой саги. Она рассказывала о миломъ быломъ, ткала чудесные узоры вымысла, переплетенные съ былью, о гордыхъ паннахъ и паненкахъ со жгучими очами и о блестящихъ рыцаряхъ Свободной Польши, носившихся въ лихой мазуркѣ и удаломъ краковякѣ и умѣвшихъ не одними только боевыми подвигами завоевать себѣ благосклонность кокетливыхъ красавицъ.

Увы! времена прекрасныхъ рыцарей и гордыхъ паненокъ давно миновали, и нагляднымъ воспоминаніемъ о миновавшемъ являлись только старыя портреты въ полуоблупившихся золоченыхъ рамкахъ на стѣнахъ современной портретной галлерей.

Впрочемъ и все Отрадное уже не представляло собою прежняго маленькаго царства польскихъ магнатовъ, вельможъ стараго времени. Оно значительно сократилось въ своихъ размѣрахъ. не имѣло тысячъ даровыхъ

работниковъ, руки которыхъ являлись безконечнымъ источникомъ золота для безпечныхъ пановъ-хозяевъ. Однако оно все же было очень доходно. Нѣмецъ-управляющій сумѣлъ на свой ладъ культивировать обрѣвшее помѣстье, и—надо отдать ему полную справедливость—ввелъ здѣсь образцовый порядокъ. Въ сравнительно недолгій срокъ подъ его ловкими руками возродилось запущенное было помѣстье. Теплицы и оранжереи наполнились плодами, овощами, цвѣтами; изъ-за границы были выписаны рѣдкія породы розъ, любимыхъ цвѣтовъ „генеральши“; сильные, сытые рабочіе лошади и породистые граціозные кони подѣ-вѣрхъ и запряжку красовались въ тщательно отремонтированныхъ конюшняхъ; рогатый скотъ не оставлялъ желать ничего лучшаго. Не менѣе успѣшно шли и огородничество, плодоводство, и—главное—полевое хозяйство. Пять тысячъ десятинъ, оставшихся потомкамъ изъ лѣтъ магнатовъ, давали довольно крупную цифру дохода нынѣшнимъ владѣльцамъ. Словомъ, Отрадное вполне оправдывало свое назначеніе, и притомившіеся въ зимній сезонъ Бонгъ-Старнаковскіе могли съ успѣхомъ отдохнуть въ лѣтніе мѣсяцы на лонѣ природы.

III.

Ночь, душистая, трепетная, ароматная. Кажется, будто темная, душистая влага, пролитая изъ незримаго фіала-колосса, опрокинушагося надъ землей, такъ и застыла въ воздухѣ, полною таинственныхъ, непроницаемыхъ, опьяняющихъ чаръ, нѣжной, знойной мглы, заставляющей мечтать о серебряной сказкѣ мѣсяца, о золотыхъ огняхъ высокаго неба—гордыхъ и ласковыхъ звѣздахъ.

Но сегодня черная бархатная мгла ревнива. Она грозно стережетъ непро-

ницаемость своего мягкаго покрывала—ни мѣсяца, ни звѣздъ, ни серебряной, ни золотой сказки.

Нашумѣвшись, накричавшись и наспорившись вдоволь, молодежь разошлась послѣ ужина по своимъ комнатамъ. Чернота ночи и знойная духота ея помѣшали прогулкѣ. Назавтра рѣшено было подняться пораньше, чтобы репетировать, репетировать и репетировать безъ конца. Спектакль, приуроченный ко дню рожденія главы семейства, былъ не за горами. Послѣ него должна была разъѣхаться вся мужская половина общества: самъ старшій хозяинъ дома, Коля, Никсѣтъ Луговой и „любимецъ публики“.

Послѣдній весь отдался сейчасъ постановкѣ спектакля. Онъ мастерски распредѣлилъ роли: самъ взялъ себѣ благодарную, трудную и красивую роль старѣющаго кутилы-барина, разорившагося помѣщика Геева, ту, которую такъ недооцражаемо велъ на образцовой сценѣ покойный Далматовъ; его сестру, кокетливую, обаятельную, чуждую предрасудковъ, легкомысленную барыньку, играла Зина Ланская; ее дочь, прелестнаго, поэтичнаго ребенка—Аню,—Муся; Варя должна была изображать горничную Дуляшу, типичную вскормленницу господъ. Роль Вари, старой и спокойной пріемной дочери Раевской, поручили Вѣрѣ, великолѣпно подходившей къ ея тишѣ, роль же гувернантки Ани—Шарлотты Ивановны—репетировала эконожка Маргарита Федоровна, старая дѣва, неавистница мужчинъ, крикливое и неспособнѣйшее въ мірѣ существо. Вознодобенъ былъ уже и теперь, на репетиціяхъ, лакей Яна въ псаломникѣ Толи; Трофимова игралъ сынъ священника Вознесенскій, студентъ духовной академіи, а Лопухина—жесткаго, молодого, но „изъ раннихъ“, купца-кулака, скупившаго Вишневы садъ у